

*П. Н. Сакулин*

ПАМЯТНИК НЕРУКОТВОРНЫЙ

*Дочери своей посвящаю*



«Понимаем ли мы Пушкина?» ставит вопрос В. Я. Брюсов<sup>1</sup>. «Большинство ответит, — говорит он, — что Пушкин всем понятен в отличие от декадентов и футуристов, и это будет неверно... Пушкин кажется понятным, как в кристально-прозрачной воде кажется близким дно на безмерной глубине».

И, действительно, до сих пор мы не можем «понять» Пушкина; до сих пор мы упрекаем друг друга в непонимании поэта, с которым так близко сроднилась наша душа. Знакомый с психологией художественных переживаний несколько, конечно, не удивляется тому, что у каждого вдумчивого читателя — свой Пушкин. Но раз так уверенно обвиняем мы друг друга в непонимании, то тем самым утверждаем, что в деле истолкования поэта есть и нечто объективно-доказуемое, что существуют известные границы, которыми умеряется субъективность комментатора. Весь вопрос в том, как от нашего восприятия, естественно составляющего первый момент в работе, перейти к объекту восприятия — к произведению и к его творцу. Как проникнуть до дна, которое находится на безмерной глубине и лишь неопытному глазу кажется близким? Очевидно, исследователь с большой осторожностью должен опускать свой зонд. Даже легкая рябь, которую он произведет на поверхности, уже мешает различать то, что находится в глубине. А если неловким движением он замутил дно, то опнител у себя всякую возможность про-

<sup>1</sup> «Эпоха», 1918, кн. I. «Miscellanea».

никнуть взором в сокровенные недра. Боязно нарушать божественный покой творческих дум. Нужно долго, пристально и любовно созерцать этот мир великих тайн. Насыщенные безмолвным созерцанием, мы уйдем потом в себя и позволим сознанию осмыслить и объяснить всё воспринятое и пережитое нами.

Фактически, однако, бывает так, что исследователь приступает к анализу отдельного произведения не с свежей головой, а с известным уже представлением о писателе, которое сложилось давно, в результате многократного общения с ним. Этот целокупный образ поэта является, так сказать, эстетико-психологической предпосылкой нашей работы над произведением. Детальное и документальное изучение внесет сюда свои, порою существенные, коррективы. Но многое предопределяется тем, с какими чертами личной и творческой психологии рисуется нам писатель.

Подобно многим другим, я воспринимаю живой облик Пушкина прежде всего со стороны его предельной искренности, ясной прямоты и гениальной простоты. Пушкин всегда равен самому себе. Ни манерной позы, ни припворной гримасы. От Пушкина не услышишь пустых слов, сказанных для эффекта; на его лице не увидишь натянутой улыбки или показных слез. Он смеется от души; грустит и плачет, когда больно на сердце. Как писатель, Пушкин всегда говорит то, что чувствует и что думает. Просто, прямо, без всякой *aggrè-repensée*. В полемике это — благородный рыцарь, хотя, по обстоятельствам, выступавший иногда с опущенным забралом (Феофилакт Косичкин). Удары его метки и сильны, но наносятся всегда в лицо, никогда — в спину. Своих чернил не разводил он «ни тайной злости пеной, ни ядом клеветы», и «сердца простоты» не замарал «ни лестью, ни изменой». В творчестве своем Пушкин никогда не лжет и не лукавит. Если «черный медведь» цензуры загородит ему дорогу, он предпочтет замолчать, спрячет написанное или скроет его под шифром. Эзопский язык — чужд его натуре.

В литературных вкусах Пушкина — ни тени чопорной исключительности. «Есть люди, — писал он в 1834 году, — которые не признают иной поэзии кроме выпренной (или passionnée)». С другой стороны, есть люди, которые не понимают Байрона, считают Горация прозаичным и п. п. Пушкин воспринимает поэзию иначе — свободно, широко. Для него в писателе драгоценна прежде всего «искренность». «Нам приятно, — говорит он, — видеть поэта во всех состояниях и изменениях его живой и творческой души: и в печали, и в радости, и в порывах восторга, и в отдохновении чувств, и в Ювенальском негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа. — Благоговею перед созданием Фауста, но люблю и эпиграммы etc». Литературное жеманство в глазах Пушкина — большой недостаток. «От жеманства надобно нас отучать» советовал он в письме к Кюхельбекеру (от декабря 1825 г.). Ему смешна «апыщенность тех писателей, которые, «почитая за низость изъяснять просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами».

Творчество самого Пушкина производит на нас впечатление изумительной простоты и искренности. Кажется, мы готовы утверждать это в один голос. Поэзия Пушкина, — по словам Вл. Гиппиуса, — «чуть ли не единственная по ее гениальной простоте». О «высокой простоте» его музыки прекрасно говорит Ю. И. Айхенвальд, этот изящнотонкий «читатель» Пушкина. «Само естество, — пишет критик, — сопротивляется его творения как в зеркало. Ничего вычурного, красота без украшений, классический стиль природы и строгая чистота линий».

Да, ничего нарочитого в замысле, ничего искусственного в своем искусстве не допускал Пушкин. В его поэзии нет ребусов. Простой, искренний, ясный и светлый. Таким стоит перед нами Пушкин.

И подходить к нему нужно также просто, искренно, с открытой душой. Это — самый верный путь для проник-

новения в глубины пушкинского творчества, для раскрытия пушкинской «мудрости».

И тогда окажется, что в безыскусственном—большое искусство и в простом—великая сложность.

## II

Предметом моего анализа является стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Одно из самых известных его произведений. Недостатка в комментариях нет. Повидимому, пора бы уже установить определенный взгляд на смысл «Памятника». В действительности, однако, полного согласия между исследователями не обнаруживается. Недавно М. О. Гершензон резко подчеркнул свое расхождение с предшественниками.

Было бы излишне перебирать все мнения, высказанные по поводу «Памятника» (отчасти это сделал М. О. Гершензон).

Чтобы иллюстрировать состояние вопроса, остановлюсь лишь на двух взглядах<sup>1</sup>.

Возьму, во первых, мнение Вл. С. Соловьева. Еще в статье 1894 г. «Первый шаг к положительной эстетике» (Собрание сочинений, 2-е изд., т. VII, стр. 69—70), не соглашаясь ни с теми, кто видит в Пушкине лишь «жреца чи-

<sup>1</sup> Пожалуй, отмечу еще мнение П. Мизинова («История и поэзия» 525—526, прим.), которое выделяется своей «оригинальностью». «Памятник», — полагает он, — написан под влиянием «минутной злобы» на цензуру, от которой поэт страдал как журналист. «Пушкину нужно было сорвать злобу на цензуру; вспомнилась ему глава Радищева о цензуре, вспомнилось, что и он, хотя в умеренном тоне, требовал свободы печати (в послании к цензору 1824 года), вспомнились его друзья — декабристы, — и в результате вылилась надпись на «Памятнике». Это не оценка поэтом главной его литературной деятельности, не итог, подведенный им самому себе, своему любимому делу. Это только страничка из истории русской цензуры в николаевское царствование; ею не уничтожается все то, о чем скорбела и болела душа поэта в пору его литературной зрелости. Если бы Пушкин писал «Памятник» в спокойную минуту, то, вместо свободы и Радищева, в знаменитой строфе стихотворения был бы или «Борис Годунов» или «Полтава» или другие какие-нибудь соответствующие слова; но, вероятно, тут фигурировал бы «Борис Годунов», «celui de mes ouvrages, que j'aime le mieux», по словам Пушкина. — «Писано в 1899 году».

стого искусства», ни с теми, кто пребует от поэзии материальной пользы, Соловьев доказывал, что на вопрос о «пользе» пушкинской поэзии «настоящий, справедливый ответ» может быть лишь один, а именно: «нет, поэзия Пушкина, взятая в *целом* (ибо нужно мерить «доброю мерою») приносила и приносит большую пользу, потому что совершенная красота ее формы усиливает действие того духа, который в ней воплощается, а дух этот — живой, благой и возвышенный, как он сам свидетельствует в известных стихах:

«И долго буду тем любезен я народу» и пр.

В юбилейном 1899 году Вл. Соловьев высказался о «Памятнике» в статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» («В. Евр.» 1899, декабрь).

Последовательно рассмотрев «Пророка», «Поэта», «Черня», «Поэту», «Моцарт и Салери», «Эхо» и «Памятник», — Вл. Соловьев нашел, что интересующее нас стихотворение есть не что иное, как «непосыдное соглашение» поэта с потомством. «Сам поэт выше всего ценит, у себя чистую поэзию... Самое важное для поэта — поэтическое вдохновение, *заветная лира*. Это есть первое и главное основание его славы *среди избранников*». Но теперь, за несколько месяцев до смерти, поэт задумался над «ближайшей будущностью» своей поэзии. Он «еще раз восходит, — но не на пустынную вершину серафических вдохновений, а на то предгорье, откуда взор его видит большой народ, — потомство его поэзии, ее будущую публику». Непосредственных счетов у поэта с этим народом не может быть, уже по одному тому, что потомство не в состоянии посягать на свободу его вдохновения. К суду «большого народа» поэт может отнестись без гнева, терпимо. Понять поэзию, как искусство, народ не сумеет; он также будет искать в поэзии «нравственной пользы», подобно той черни, которую поэт гнал от себя прочь. Но это не беда: в большом народе есть «добро», «и оно даст добрый отклик на то, что найдет добрым в поэзии Пушкина».

Эти простые души «будут искренно желать истинной пользы нравственной». С таким желанием поэту можно мириться, не унижая поэзии: «ведь и чистая поэзия приносит истинную пользу, хотя не преднамеренно». И Пушкин пошел на этот благородный «компромисс» с народом, не стал обострять своего разногласия с будущими ценителями его творчества. «Памятник» есть «не поэтическое, а практическое (в хорошем смысле слова) сгедо Пушкина». То, за что поэт будет «любезен» народу, «дорого и самому поэту, хотя и не дороже всего». Последняя, пятая строфа стихотворения снова настаивает «на верховности вдохновения и на безусловной самозаконности поэзии». «...По мысли и внутреннему чувству Пушкина всё значение поэзии — в безусловно-независимом от внешних целей и намерений, самозаконном вдохновении, создающем то прекрасное, что по самому существу своему есть и нравственно доброе»<sup>1</sup>.

Из всех, кто писал о «Памяльнике», Вл. Соловьев более других удовлетворил М. О. Гершензона<sup>2</sup>. Знаменитый философ, по его словам, «правильно понял» стих: «И долго буду тем любезен я народу». Это, однако, не помешало ему исказить мысль Пушкина. Соловьев убежден в пождестве красоты и нравственного добра. Но это не более, как софизм. Внося его в свои рассуждения о «Памяльнике», Соловьев приписал «свою ложную мысль самому Пушкину». Его комментарий в сущности — цепь софизмов: откуда-то вдруг появился «большой народ»; народ этот будто бы ищет «какой-то особенной истинной моральной пользы», тогда как в 4-й строфе «Памятника» говорится совершенно о том же, чего раньше преобладала от поэта «Чернь»; софизмом, наконец, нужно признать мнимый компромисс поэта с потомством.

А ведь от каждого из нас всего только и требуется «разумно прочитать 20 умных и ясных стихов Пушкина», заключает М. О. Гершензон. «Единственно простым чте-

<sup>1</sup> Ср. еще у Вл. Соловьева, Ст. VII (изд. 2-е), стр. 137.

<sup>2</sup> М. Гершензон. Мудрость Пушкина. М. 1919.

нием пушкинских строк» автор «Мудрости Пушкина» определил подлинный их смысл; с ним должен согласиться «всякий разумный человек, который прочтет их без предубеждения и внимательно».

По толкованию М. О. Гершензона, в четвертой строфе «Памятника» («И долго буду тем любезен я народу» и пр.) Пушкин говорит не от своего лица, а излагает мнение о себе народа, мнение, конечно, грубое и ложное. Никакой самооценки поэта тут нет. Слово «любезен» употреблено саркастически. При таком и только при таком понимании уясняется нам содержание пятой заключительной строфы. «Ее смысл—смирение перед обидой. Поэт как бы подавляет свой невольный вздох. Горька обида, но таков роковой закон—«божие веление»; покорись божьей воле: вот что говорит эта строфа». Прежде Пушкин пытался оспаривать глупцов и временами делал это очень спраспно, но теперь убедился, что это—тщепное и безнадежное занятие: «так устроено высшей волею». Бессмертие поэту обеспечено, но такое, что, право, лучше, если бы его и не было. Ведь то, что скажут о нем («чувства добрые» и пр.), это—плоское суждение толпы, клевета глупцов на самого Пушкина да и на поэзию вообще. Люди откроют в творчестве Пушкина «то, чего в ней вовсе нет, и проглядыт ее истинное содержание: они откроют в ней *полезность*, нравоучительность». Утешением для поэта, которого ждет столь «пошлая слава», могут служить лишь два обстоятельства: во-первых, найдутся немногие избранные, преимущественно пииты, которые верно поймут его поэзию (для обозначения этой «подлинной славы» Пушкин и употребляет выражение «славен»), а, во-вторых, «пошлая слава», «слух» всё-таки упрочится не навеки, на что, по видимому, и указывает слово «долго». М. О. Гершензон не замечает, что, высказывая последнюю мысль, он впадает в противоречие с самим собою. Если народу роковым образом суждено не понимать поэзии («роковой закон»—«божие веление»), то, следовательно, «пошлая слава» будет прикреплена к имени Пушкина во веки веков. Одно спа-

сенье, — что народ когда-нибудь перестанет вовсе думать о поэте, забудет его, но тогда, очевидно, заростет народная пропа к памятнику. Так ли, сяк ли, но весь «Памятник», по мнению М. О. Гершензона, есть «как бы один подавленный вздох».

Несложное, казалось бы, стихотворение рождает сложные споры.

М. О. Гершензон рекомендует больше всего опираться на «простое чтение и здравый смысл». Медленное и рассудительное чтение — «наилучший судья»; в отношении же к Пушкину даже «единственный разумный эксперт и судья».

Последую этому рациональному методу. Начну с текста, с его имманентного анализа, а затем предложу историко-литературные комментарии, необходимые для его правильного освещения.

### III

Прежде всего, разумеется, нужно установить подлинный («канонический») текст стихотворения.

Пушкинисты наших дней (с особенной настойчивостью М. А. Гофман<sup>1</sup>) констатируют грустный факт, что печатный текст Пушкина полон всяческих искажений, что надо почти заново редактировать многие его произведения. Может быть, в этом есть доля преувеличения, но не подлежит ни малейшему сомнению, что работа над пушкинским текстом далеко еще не закончена.

Сравнительно благополучно, но всё же не вполне, обстоит дело со стихотворением «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Его автограф сохранился (Румянцовский Музей, тетрадь № 2384, л. 57 об. или, точнее, по красночернильной пагинации — л. 59 об.)<sup>2</sup> Снимок впервые был воспроизведен П. И. Бартевым в «Р. Архиве» за 1881 год (кн. I, при стр. 233); теперь его можно найти, напр., в вен-

<sup>1</sup> М. А. Гофман. Пушкин. Первая глава науки о Пушкине. Птбр. 1922.

<sup>2</sup> Черновой автограф трех последних строк имеется среди рукописей Академии Наук, но пока исследователям не доступен.

геровском издании Пушкина (т. IV, стр. 47). Издатели (не исключая С. А. Венгерова и В. Я. Брюсова) допускают кое-какие неточности при воспроизведении текста. Последнее слово в этом вопросе принадлежит М. Л. Гофману<sup>1</sup>, но и с ним не во всем можно согласиться. Нечего уже говорить о первой печатной редакции, появившейся в посмертном издании (1841 г.): здесь текст дан с переделками Жуковского, которым, между прочим, посчастливилось попасть и на московский памятник Пушкину.

В автографе стихотворение не имеет заглавия, а эпиграф из Горация включает в себе ошибку: «exigi» вм. «exegi»

Вот почный текст автографа, — который изучался мною и по рукописи и по факсимиле

*Exigi monumentum*

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный  
Къ нему не заростетъ народная пропа  
Вознесся выше онъ главою непокорной  
Александрійскаго столпа

Нѣшь весь я не умру—душа въ завѣтной лирѣ  
Мой прахъ переживетъ и плѣнья убѣжитъ—  
И славенъ буду я доколѣ въ подлунномъ мѣрѣ  
Живъ будетъ хотѣ одинъ пѣить

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой  
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ  
И гордый внукъ Славянъ, и Финъ и нѣнѣ дикой  
Тунгузъ и другъ степей Калмыкъ.

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу  
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ  
Что въ мой жестокой вѣкъ возславилъ я свободу  
И милость къ падшимъ призывалъ

<sup>1</sup> Пушкин и его современники. Вып. 33—35, стр. 411—4.4 статьи «Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 г.г.» (было и отдельное издание).

Велѣнью Божію, о Муза будѣ послушна  
Обиды не страшась, не пребывая вѣнца,  
Хвалу и клевету приемли равнодушно  
И не оспаривай глупца—

1836  
авг. 21 <sup>1</sup>.  
Кам. Остр.

Первоначальная редакция IV строфы читается так:

И долго буду тѣмъ любезень я народу  
Что звуки новыя для пѣсень я обрѣлъ  
Что вслѣдъ Радищеву возславилъ я свободу  
И милосердіе воспѣлъ.

Сначала несколько замечаний об орфографии и вообще о чтении текста.

Прилагательные в им. п. м. р. Пушкин очень часто пишет с окончанием «ой», а не «ый», «кой», а не «ий». Так, «дикой Тунгуз»; точно также, вопреки чтению Венгерова и Гофмана, надо: «жестокой век» (у Брюсова — так.) В слове «Тунгуз» стоит з, а не с. В последнем стихе ясно написано: «не оспаривай» (так у Морозова и у Гофмана; у Венгерова: «не оспаривай»).

Приставка в глаголе «приемли» пишется с «и», а не с «і». Окончание в этом слове не совсем разборчиво. М. Л. Гофман с большой уверенностью предлагает читать «приемля». Но конечная буква всё же более похожа на «и», чем на характерное пушкинское «я». Во-вторых, вопреки мнению М. Л. Гофмана, полагаю, что «синтаксическое и художественное строение строфы» говорит скорее за окончание «и», нежели за окончание «я». Видеть в союзе «и» («И не оспаривай») связь четвертого стиха с первым было бы натяжкой, при которой вся синтаксическая структура строфы приобрела бы тяжеловесность: ведь тогда все деепричастия пришлось бы отнести к сказуемому «будь послушна». Мне кажется, естественнее думать, что при последних стихах V строфы составляют

<sup>1</sup> В рукописи дата расположена именно так, и неизвестно, почему М. Л. Гофман печатает «21 авг. 1836».

одно логическое и синтаксическое целое. Да и ритмико-синтаксический строй говорит за «приемли»: во всех пяти строфах третий и четвертый стихи обязательно связаны с помощью enjambement, и в частности пятая строфа построена симметрично четвертой, т.-е. в обоих случаях четвертый стих соединяется с третьим союзом «и». Именно, — в IV строфе:

Что въ мой жестокой вѣкъ возславиль я свободу  
И милость къ падшимъ призываль.

А V строфа звучит так:

Веленю Божію, о Муза, будь послушна;  
Обиды не страшась, не требуя вѣнца,  
Хвалу и клевету приемли равнодушно  
И не оспаривай глупца.

Окончание в слове «хвалу» написано Пушкиным не сразу. По категорическому утверждению М. А. Гофмана, рукопись не оставляет ни малейших сомнений в том, что первоначально стояло «хвалы», затем *ы* было переправлено на *у*, хотя по факсимиле можно думать как раз обратное, и он, Гофман, чуть было не канонизировал «хвалы». На меня автограф Пушкина и его факсимиле производят такое впечатление, что вопрос о начертании окончания в данном слове нужно считать трудно разрешимым<sup>1</sup>. Я оставляю все-же «хвалу», потому что в пользу этой формы говорят артикуляционные и эвфонические соображения (в стихе получается три ударных *у*, как и в первом стихе той же строфы).

Установивши текст «Памятника» (буду обозначать стихотворение этим привычным заглавием), перехожу к его анализу. Начну с формы, в которой четко просвечивает возбужденная мысль и взволнованное сердце поэта.

<sup>1</sup> Вместе со мной рассматривали автограф такие авторитетные в чтении рукописей лица, как Г. П. Георгиевский (хранитель рукописного отделения), А. А. Шемшурин (его помощник) и В. Ф. Саводник. Единомыслия между нами не оказалось.

В последние годы творческой жизни Пушкина у него наблюдается как бы новый прилив классических симпатий, и в данном случае он избирает лирический жанр, завещанный еще Горацием и уже использованный Державиным. Таким образом форма как бы predetermined предшественниками. Это — факт, но преувеличивать его не следует. Стихотворение «Памятник» — интимно дорого поэту, и в нем нельзя видеть простого «подражания».

«Стихотворение, как подражание античной оде, — замечает о нем Вал. Брюсов, — написано в приподнятом тоне, отчего ряд славянизмов: *пийт* — поэт, *язык* — народ и др.». Подражание едва ли имеет тут решающее значение. Форма оды и свойственный ей стиль, конечно, обязывают, но Пушкин распорядился ими весьма свободно, в соответствии с своими действительными переживаниями. От Горация и Ломоносова стихотворение Пушкина отстоит очень далеко, ближе всего — к «Памятнику» Державина, который сам сильно уклонился от латинского образца. Пушкин позаимствовал у Державина даже некоторые выражения<sup>1</sup>.

Приподнятость тона, которую отмечает В. Я. Брюсов, объясняется не столько фактом подражания античной оде, сколько высотой настроения. Всё стихотворение выдержано в величавом стиле, но без высокопарности. Пушкин умел говорить интимно — торжественным языком, каким изъясняется у него, напр., Пимен в «Борисе Годунове».

Спокойная величавость стиля сказывается во всем: в лексике, в звукописи и в ритме этого медитативного стихотворения.

Лексика носит на себе печать «высокого штиля»: «воздвиг» (как и у Державина) памятник «нерукотворный»; «вознесся ... главою»; «душа в заветной лире мой прах переживет и пленя убежит» (у Державина: «от плена убежав»)<sup>2</sup>; «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит»;

<sup>1</sup> В примечаниях к венгеровскому изданию (VI, 495), — вероятно, Н. О. Лернера, — делается сближение пушкинского «Памятника» также с «Лебедем» Державина.

<sup>2</sup> Не безразлично, что слова «мой прах» заменили собою более простое «меня».

«по всей Руси великой»; «всяк сущий в ней язык»; «велению божию, о муза»<sup>1</sup>; «приемли».

С звукописью Пушкина приходится оперировать осторожно. По нескольким соображениям. Во-первых, Пушкин не обнаруживает здесь сознательного стремления к звуковой символике. Во-вторых, мы не знаем в точности, как именно сам Пушкин произносил известные звуки, и это затрудняет их подсчет. В-третьих, истолкование звукописи вообще дело в значительной степени субъективное (сошлюсь хотя бы на Андрея Белого)<sup>2</sup>. Тем не менее, в звуковой инструментровке «Памятника» выступает несколько характерных черт. Укажу их, воздерживаясь от субъективных натяжек.

Первые же стихи «Памятника» звучат, как некое самоутверждение, как твердая уверенность, особенно в словах с энергичным «р»:

..... нерукотворный;  
К нему не заростет народная тропа...

В следующей строфе ощущается какой-то перелив звуков от того же уверенного «р» (не умру, мой прах переживет) к рокочущему «л» («И славен буду я, доколь в подлунном мире»). IV строфа выделяется преобладанием звука *л* и *в*, иногда в сочетании между собою. На слух К. Д. Балмонта («Поэзия, как волшебство») *л*—«ласковый звук», а *в*—ветряной, взвевный. Сочетание «вл» дает ласковую гармонию. Небезынтересно, что сам Пушкин (в письме к П. А. Вяземскому от 14—15 авг. 1825 г.) признал, что «вла вла—звуки музыкальные». Ср. в IV строфе: «долго», «любезен», «пробуждал», «милость «призывал», «восславил» (в других строфах: и «главою», «славен», «славян», «хвалы»). Пятая, заключительная строфа группу *вл* соединила с звуком *н*; некоторые ее стихи звучат особенно выразительно

<sup>1</sup> Первоначально и тут стояли менее торжественные слова: «призванию своему».

<sup>2</sup> Оставляя даже в стороне его «Глоссалогию» (Берлин, 1922).

{«Веленью божию, о муза, будь послушна»; «хвалу и клевету приемли равнодушно»}<sup>1</sup>.

Согласные приобретают те или другие специфические модуляции, в зависимости от того, с какими гласными они входят в сочетание. Гласные образуют здесь свои, весьма показательные ряды: в I спрофе—аео, во II—аеи, в III—аие, в IV—аои, в V—аеу<sup>2</sup>. Преобладание звука *а*—очевидно. Царит открытое, широкое, полнозвучное *а*. Вспоминается замечание А. Белого («Символизм», 411), что «инструментовка при помощи «а», оппшененных «и», выражает гармоническое настроение духа, слегка окрашенное грустью»<sup>3</sup>. Особенной многозначительностью отличается ударное «а» в ответственных выражениях: «памятник», «тропа», «столпа», «душа», «прах», «славен», «пробуждал», «восславил», «к падшим призывал», «не страшась», «венца», «глупца»<sup>4</sup>.

Шестистопный ямб с цезурой (медианой) после третьей стопы придает стиху «Памятника» мерную плавность. Впечатление эпо усиливается тем, что в каждом стихе имеется по два ритмических ударения.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  
К нему не заростет народная тропа;  
Вознесся выше он главою непокорной  
Александрийского столпа.

<sup>1</sup> Само собою разумеется, и в данном стихотворении можно найти различные виды аллитераций, которые В. Я. Брюсов констатирует вообще в «звукоскопии» Пушкина (вроде анафоры «Вознесся выше»). См. его статью в журнале «Печать и революция», 1923, кн. II.

<sup>2</sup> При подсчете я принимал во внимание и аканте и йотацим.

<sup>3</sup> В «Глоссологии» А. Белого читаем (стр. 106): «звук «а»—белый, лепящий открыто:... полнота души в нем: благоговение, поклонение, удивление; «звук «і»: синева, вышина, заостренность, восторги, восхищенность мистика, модиферизм».

<sup>4</sup> Когда я уже сдал свою статью в печать, М. А. Цявловский указал мне на книжку Георгия Шенгеля, напечатанную в Феодосии, но выпущенную петроградским книжком «L'oiseau bleu» под названием: «Два Памятника». Сравнительный разбор озаглавленных этим именем стихотворений Пушкина и Брюсова». Разбор касается метра, рифм, инструментовки, образов, «грамматической и риторической конструкции». В смысле метода анализ, пожалуй, любопытен, но позаимствоваться чем-либо у Шенгеля бы затруднился. Зато его работы о стихе (особенно «Трактат о стихе») сильно пригодились и мне.

Так пробегает ритмическая волна по всем строфам. Это вносит струю величавости. Стоит сравнить с этим нервный ритм стихотворения «Чернь», где в четырех-стопном ямбе выразилось всё негодование поэта:

Молчи, бессмысленный народ,  
Поденщик, раб нужды, забот! и т. д.

Ритмические ударения песнятся здесь друг к другу: получается впечатление непрерывных ударов бича. Сонет «Поэту», более покойный по настроению, написан уже шестистопным ямбом.

С изумительной последовательностью выдерживается в «Памятнике» та ритмическая особенность в построении стиха, которую Чудовский назвал «законом тематических начал», отчего почти каждый стих получает ударную экспрессию (Я *памятник* себе..», «И *славен* буду я..», «*Слух* обо мне..», «И *долго* буду..», «Что *чувства* добрые..», «И *милость* к падшим..», «*Хвалу* и *клевету*..», «И не *оспоривай* глупца» и т. п.).

Стихотворение «Памятник» имеет отчепливое строфическое членение.

Строфика Пушкина, вообще говоря, довольно разнообразна. В данном случае поэт употребил редкую для него форму строфы,—один из видов хвостатой строфы (rime couée). Основной размер—шестистопный ямб, а четвертый стих каждой строфы укорачивается на две стопы, т.-е. каждая строфа замыкается кодой в виде четырех-стопного ямба, и это всегда хорошо разрешает «ритмическую инерцию», чего, к слову сказать, нет в «Памятнике» Державина, сохраняющего 6 стоп и в четвертом стихе строфы. Рифмы—перекрестные, типа абаб, при чем рифмы а — женские, б — мужские. Третий и четвертый стихи в строфе связаны посредством enjambement. Всё это придает каждой строфе полную завершенность, как в стансах.

Точно такой тип строфы, насколько я знаю, встречается у Пушкина еще только два раза: во-первых, в эпи-

грамме 1814 года «Арист нам обещал трагедию такую» (всего две строфы и иное расположение рифм) и, во-вторых, в стихотворении 1825 г. «Н. С. Мордвинову» («Под хладом старости угрюмо угасал»), где уж все шесть строф построены по тому же принципу, что и в стихотворении «Памятник». Сходно с последним в строфическом отношении также стихотворение 1816 г. «К ней» (но четвертый стих каждой строфы здесь — трехстопный).

Правильная строфичность «Памятника» указывает на строгую расчлененность творческой мысли поэта.

В первой строфе твердо выражена (ср. звукопись) главная тема этой лирической думы, воплощенная в грандиозном метафорическом образе. Поэту зрится в будущем его нерукотворный памятник; стоит он выше Александрийского столпа<sup>1</sup>, и ведет к нему народная тропа, не зарастающая, ибо непрерывной вереницей тянется народ.

В следующих трех строфах развертывается содержание главной темы. Нерукотворный памятник это — поэзия, это — душа поэта в его заветной лире. Она-то и останется в памяти всего потомства. Высота памятника и народная тропа к нему раскрываются в трех последовательных градациях: слава в подлунном мире, слух по всей Руси великой и признание «любезным» со стороны народа, очевидно, русского народа. IV строфа, начинающаяся союзом «и», тесно примыкает к двум предыдущим.

В последней, пятой строфе, которая, при чтении, должна бы отделяться от предыдущих большой паузой и произносится с особой интонацией (тихого раздумья), поэт, оторвав взор от перспектив далекого будущего, обращается к своему настоящему и делает по отношению к нему мудрый вывод: спокойно творить, не обращая внимания на суд современников. Еще в коране вычитал Пушкин совет не спорить с глупцом<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Александровская колонна была открыта 30 августа 1834 года.

<sup>2</sup> Альбом Онегина. См. у М. Л. Гофмана. Пропущенные строфы «Евгения Онегина» (Пушкин и его современники). Вып. 33—35, стр. 178, 183, 186.

Прослеженное печение мысли поэта имеет свою эмоциональную окраску, в которой наблюдаются интересные переходы.

С искренней торжественностью звучит первая строфа, как интродукция к дальнейшему. Ее тон можно назвать, пожалуй, мажорным: в нем слышится категорическая убежденность, твердая уверенность поэта в своих заслугах; его «непокорная глава» в этот момент гордо поднята над толпой. Приблизительно тем же тоном окрашена II строфа, («Нет, весь я не умру... И славен буду я...») <sup>1</sup>. Но далее, в III и IV строфах, наблюдается характерное изменение: постепенно тон становится более простым и интимным, принимая в последней строфе, так сказать, в каденции стихотворения оттенок религиозно-мудрой кротости («Веленью божию» вместо первоначального «Призванью своему»).

Эти нюансы соответствуют движению самой творческой мысли, идущей в строгой градации от отдаленного и абстрактного к близкому и конкретному. Сначала памятник нерукопворный где-то в тумане грядущих веков. Потом слава в (подлунном мире среди избранных, среди пиитов, так сказать, мировая слава, нечто высокое, но и холодное. Затем круг суживается—вся Русь великая с ее многочисленными народностями; здесь сохраняется слух о поэте; здесь будут знать его имя («назовут меня всяк сущий в ней язык»). Те же выражения «слава» и «слух» употребил еще Державин:

И слава возрастетъ моя, не увядая,  
Доколь Славяновъ родъ вселенна будетъ чтить  
Слухъ пройдетъ обо мнѣ отъ Бѣлыхъ водъ до Черныхъ,  
Гдѣ Волга, Донъ, Нева, с Рифея льетъ Уралъ <sup>2</sup>.

Державин надеется, что «народы неисчетные России» будут помнить, чем и как прославился он. Пушкин же,

<sup>1</sup> Может быть, с целью выдержать торжественность тона, во II строфе слово «меня» заменено выражением «мой прахъ».

<sup>2</sup> Замечательно, что в первоначальной редакции и у Пушкина было написано: «Слухъ пройдетъ обо мнѣ по всей Руси великой», т.-е. и «пройдетъ» с тем же ударением, что у Державина. Потом Пушкин изменил порядок слов.

перечислив народности, до тунгузов и калмыков включительно, затем еще ограничивает поле своего зрения, делая его еще более близким для себя и интимным: IV строфа говорит о народе. Под народом, полагаю, здесь можно разуметь только русский народ, т.е. тех, кто вместе с поэтом помнил заслугу Радищева (имя которого стояло в первой редакции), кто вместе с ним испытал на себе «жестокый век» и, следовательно, лучше всего мог оценить свобододобивую и гуманную музу Пушкина. Для финнов, тунгузов и калмыков эпо, может быть, и безразлично. Для русского общества, для русского народа эпо весьма существенно <sup>1</sup>

Современные Пушкину поколения и вместе с тем его ближние и еще потомство будут помнить об этом долго, но, конечно, не вечно. Общность страданий сближает людей, но есть временный предел скорбям человеческим. В IV строфе Пушкин коснулся того, что у всех русских людей наболело.

Вот почему в горацанской оде послышались тут сердечно-простые ноты (и инструментирована IV строфа несколько иначе, чем предыдущие: на звуках *вл*):

И долго буду тѣмъ любезень я народу,  
 Что чувства добрыя я лирой пробуждаю,  
 Что в мои жестокой вѣкъ возславилъ я свободу  
 И милость к падшимъ призывалъ

В первой редакции IV строфы поэт также говорил о свободе и милосердии, значил о своих добрых чувствах, но, сверх того, и о новых звуках. Чем можно объяснить изменения, произведенные во втором стихе? Как эпо ни странно, но «звуки новые» ничего своеобразного в «Памятнике» Пушкина не представляли бы. Ведь и Гораций писал:

Principes Aeolium carmen ad Italos  
 Deduxisse modos

Поэтому IV строфу я не сливаю с III воедино, как это делает М. О. Гершензон.

И Державин гордился тем, что первый дерзнул в «забавномъ русскомъ слогѣ о добродѣтеляхъ Фелицы возгласить», т.-е., что и он для своего содержания «звуки новыя» обрел. Пушкин думает в этот момент о «душѣ», которая сокрыта в «завѣтной лирѣ»<sup>1</sup>, и потому, вероятно, полученную по традиции формулу («звуки новыя») предпочел заменить своей, точнее характеризующей «душу» поэта («чувства добрыя»). Ведь, именно, этими свойствами своей души поэт и был дорог русскому народу, еще не изжившему «жестокий век»<sup>2</sup>.

Каждое слово IV строфы имеет прямое и полноесное значение, без какой-либо иронии или сарказма. Эпитет «жестокий» выражает подлинный взгляд самого Пушкина (а не бессмысленной толпы) на его век. Слова «свобода», «чувства добрыя», «милость к падшим» проникнуты искренним убеждением поэта в ценности этих понятий, а «милость к падшим» сказано с проникновенной прогнательностью и теплотой<sup>3</sup>.

Отношение русского народа к себе поэт определил словом «любезен». Это уже — не холодная слава, не простая популярность («слух»), а интимная связь, идущая от сердца к сердцу, от души к душе. Никакого диссонанса в IV строфу слово «любезен» не вносит.

<sup>1</sup> «Завѣтной» — интимнее, чем «безсмертной» (в первой редакции). Ср.: «Мы празднуемъ Лицея день завѣтный» (19 октября 1836 года).

<sup>2</sup> Дальше я укажу еще дополнительный мотив. — В. П. Семенников «Радищев», («Госизд.», 1923, стр. 313—314) усматривает в IV строфе влияние Радищева, который в оде «Вольность» рисует картину того далекого будущего, когда юноша придет на его обветшалый гроб и с чувством скажет:

Под игом власти, сей рожденный,  
Нося оковы позлащенные,  
Нам вольность первый прорицал.

<sup>3</sup> Когда имп. Александр Павлович прочитал «Деревню» Пушкина, то, как рассказывали, он поручил благодарить автора «за добрые чувства, внушенные его поэзией» (pour les bons sentiments que ses vers inspirent). П. О. Морозов высказал предположение, что именно это выражение вспомнилось Пушкину, когда он писал свой «Памятникъ» (статья «Пушкинь» в сборнике «Минувшій вѣкъ», 335).

М. О. Гершензон усмотрел в нем саркастический смысл. У Пушкина есть примеры ярких сарказмов.

Какая честь для нас, для всей Руси!  
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,  
Зять палача и сам в душе палач,  
Возьмет венец и бармы Мономаха...

Едкий сарказм в слове «честь» — очевиден. Есть ли хотя бы малейший оттенок сарказма в выражении «любезен»? Есть ли в нем хотя бы оттенок «пошлой славы»?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, разумеется, прежде всего установить пушкинское понимание слова «любезный». Отсутствие словаря Пушкина затрудняет справки в его поэтической фразеологии. Приведу всё же кое-какие данные.

Как известно, слово «любезный» — самое обычное в лексиконе карамзинской эпохи (у самого Карамзина, у Жуковского). Употребляют его и поэты пушкинской поры: Батюшков, Бородинский. Последний, между прочим, воспользовался им в стихотворении (1828 г.), которое также развивает мысль о признании поэта потомством:

Но я живу, и на земле мое  
Кому-нибудь любезно бытие!  
В стихах моих далекий мой потомок  
Узрит его

и п. д.

Пушкин унаследовал выражение «любезный» и, повидимому, охотно употреблял его. Ванюша Лафонтен (в лицейском стихотворении «Городокъ») назван — «певец любезный». В «Евг. Онегине» (гл. VI, строфа III) читаем:

Погибну,—Таня говорит:  
Но гибель от него любезна...

Среди претендентов на роковую ночь Клеопатры оказался Критон, молодой мудрец, «любезный сердцу и очам»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Я не говорю уже о таком употреблении слова любезный, как в «Выстреле» и «Метели». Именно: разговор его свободный и любезный (в «Выстреле»), «родители его любезной» (в «Метели»); ср. тут же в стиле XVIII в. — «любовники». В «Евг. Он.» (гл. IV, строфа 34) — читать своим «любезным».

Такое словоупотребление долго сохраняется в литературе. П. В. Анненков, конечно, с намеком на «Памятник», называет Пушкина поэтом «любезным» в потомстве<sup>1</sup>. Некрасов выражается совершенно по-пушкински, говоря, напр.: «Да не робей за отчизну любезную» («Железная дорога») или: «и смерть ему любезна» (в стихотворении 1874 г. «Пророк», посвященном Чернышевскому). В «Снегурочке» Островского также: «Любезна мне игра ума и слова».

В середине 30-х годов карамзинское «любезен» несколько не шокировало художественного вкуса Пушкина. Никакого семантического изменения в слове, повидимому, не произошло, и поэт продолжал употреблять его во всей свежести первоначального значения. Если же допустить, что к 1836 году слово «любезен» уже приобрело отпечаток некоторой старомодности, то ведь такая старомодность была по душе Пушкину: ничего пошлого в ней он не усмотрел бы.

Взятое в общем контексте IV строфы слово «любезный» хорошо гармонирует с основным ее тоном, простым и сердечным. Трудно видеть здесь какой-нибудь сарказм. Не забудем, что «любезный» стояло и в первой редакции, т. е. когда были «звуки новые». Значит, ни пошлости («пошлая слава»), ни сарказма в выражении «любезный» я не усматриваю.

IV строфа выдержана в тоне кроткого примирения. Стих «И милость к падшим призывал» подготавливает нас к финальному аккорду: «Веленю божию, о Муза, будь послушна». «Веленю божию» заменило собою первоначальное «призваню своему». Оба выражения — тождественны по смыслу. Нет никакого резона под «веленемъ божиимъ» разуметь божью, высшую волю, «закон», чтобы народ вечно находил в поэзии то, чего в ней нет. Призвание поэта есть веление бога. Раньше в аналогичных случаях Пушкин вспоминал Аполлона («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»); теперь он употребил хри-

<sup>1</sup> П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки. Отдел второй, стр. 12.

спианскую формулу, более соответствующую его настроению в данное время.

«Непокорная глава» поэта покорно склоняется перед святостью призвания. В этом благостном чувстве растворилась вся горечь, какая только могла накопиться в душе поэта.

Характерно, что Державин совсем иначе закончил свой «Памятник».

О Муза! возгордись заслугой справедливой  
И презреть кто тебя, сама тѣхъ презирай;  
Непринужденною рукой, неторопливой,  
Чело твое зарей безсмертія вѣнчай.

Гордыни неп сейчас в сердце Пушкина, как неп злобы и презрения,—всех эпих земных, низких чувств. Взор поэта устремлен в будущее, где его ожидает бессмертие. Грядущие поколения оценят его по достоинству. Все придут к нему, проложат к памятнику «народную пропу», и она не зарастет травой забвения. Признание будет исторически справедливым, всенародным. Перед лицом будущего малозначительным представляется настоящее с его превогами и обидами. В конце концов венцы присуждают не современники, а потомки. Величием и кротостью дышит всё стихотворение.

Чтобы еще более уяснить искомый смысл «Памятника», рассмотрим несколько вопросов, относящихся к истории его создания и к поэтике Пушкина.

#### IV

Тема, разрабатываемая в «Памянике», всю жизнь волновала Пушкина. Это—вопрос об автономии поэта и о значении поэзии. У поэта—свой взгляд на творчество, у читателей и критиков—свой. То и дело возникают коллизии. Значит, на сцене, в сущности, проблема «поэт и толпа»<sup>1</sup>.

Имя Пушкина с самого начала было предметом разнообразнейших суждений. Справедливость требует сказать,

<sup>1</sup> См. сводку относящихся сюда данных в брошюре Б. В. Никольского «Поэт и читатель в лирике Пушкина» (СПБ. 1899).

что еще при жизни Пушкин слышал верную и высокую оценку своего творчества. Анненков свидетельствует, что в 1834—1835 годах поэт с удовольствием мог видеть «постоянное изучение его собственных созданий» и стремление «отыскать в самых этих созданиях живые эстетические законы... Он уже мог тогда прозреть свое значение как воспитателя художественного чувства в отечестве...»<sup>1</sup>. Но и Анненков, разумеется, не отрицает, что рядом с этим имели место «нападки и выходы» литераторов. В хулителях не было недостатка. Николай Ив. Иваницкий вспоминает, что как раз в последние годы жизни поэт был окружен враждой, что его переставали ценить: «Даже и средний класс неблагоприятно уже отзывался о Пушкине: говорили обыкновенно, что Пушкин исписался и т. п.»<sup>2</sup>. Когда Пушкин спал издавать «Современник», злостные нападки журналистов возобновились с новой силой, сопровождаясь ядовитыми намеками, что его поэтический талант угасает. «Северная Пчела» (1836, № 162, статья П. М.-ского) писала: «Мечты и вдохновения свои Пушкин погасил срочными статьями и журнальною полемикою; князь мысли стал рабом толпы» и т. д. Эта статья вызвала сильное негодование в В. Ф. Одоевском: он считал ее «сокращением всего того, что «С. Пчела», «Сын Отечества» и «Библиотека для Чтения», под разными видами, с некоторого времени стараются втолковать своим читателям»<sup>3</sup>.

Эти и подобные обстоятельства могли послужить для Пушкина внешним стимулом, чтобы оглянуться на пройденный путь и определить свое общее значение.

Очень рано уверовал Пушкин в то, что «потомков поздних дань поэтам справедлива» («К другу стихотворцу» 1814 г.). Еще в «Городке» (1814) он выражал надежду:

Не весь я преданъ тлѣнью;  
Съ моей, быть можетъ, тѣнью

<sup>1</sup> П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб. 1873, стр. 394—395

<sup>2</sup> Автобиография Н. И. Иваницкого—Шукинский Сборник, вып. VIII, стр. 262—Ср. воспоминания А. В. Дружинина (Собр. сочин., т. VII, 30—31).

<sup>3</sup> См. в моей книге «Князь В. Ф. Одоевский», т. I, ч. II, стр. 326.

Полунощной порой  
Сынъ Феба молодой,  
Мой правнукъ просвѣщенный,  
Бесѣдовать придетъ  
И, мною вдохновенный,  
На лирѣ вздохнетъ.

Мотив попомства уже тогда приходил на мысль Пушкину. А в наброске 1823 года содержится прямое указание на идею «памятника»:

Быть можетъ, этотъ стихъ небрежный  
Переживетъ мой вѣкъ мятежный.  
Могу ль воскликнуть...  
Eхegi monumentum я  
Воздвигнулъ памятникъ...

В 1836 году давнишняя идея, по частям не раз мелькавшая в сознании Пушкина, воплотилась в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукопворный».

Уже не раз и совершенно основательно сближали «Памятник» с стихотворениями: «Чернь» (1828) и «Поэту» (1830). Тут — при последовательных стадиях в отношении Пушкина к одной и той же проблеме. По существу взгляд поэта остается одним и тем же, но огромная разница — в постановке вопроса и настроении поэта.

«Мысль отдельно, — как-то раз сказал Пушкин (в статье о Сильвио Пеллико), — никогда ничего нового не представляет; мысли же могут быть разнообразны до бесконечности». Так и в данном случае. И в 1828 году, и в 1830, и в 1836 году Пушкин желает прежде всего полной свободы для своего творческого труда. За нарушение этого условия поэт гонит прочь от себя чернь. Во имя той же свободы не хочет он «дорожить любовью народной» («Поэту»), т.е. добиваться ее.

Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной  
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,  
Усовершенствуя плоды любимых думъ,  
Не требуя награды за подвигъ благородный.

Сравни «не требуя венца» в «Памяльнике».

В неопделанном стихотворении 1835 г. поэт идет с открытыми веждами, не замечая никого; «идет, куда его влекут мечты свободные». Пушкин всегда был того мнения, что «независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы» (в статье 1836 г. «Вольпер»). Те же мысли выражены и в V строфе «Памятника». Но как, в каком аспекте выражены они? В этом вся суть дела.

«Чернь» написана пламенно негодующим стихом. Поэт бичует невежество «народа непосвященного», «черни тупой», спраспно сводит счеты со своими современниками, потоком гневных слов сбывает нанесенные ему обиды. Тон сонета «Поэту» — более спокойный, но автор продолжает выяснять свое отношение всё к той же «толпе холодной» его современников. Он еще не может опрешиться от настоящей минуты, от злобы дня, хопя и понимает, как сказано в заметке того же 1830 года, что дружине ученых и писателей, которые всегда стоят впереди «во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности», не должно бы «малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности ремесла». В сонете «Поэту», как и в «Черни», Пушкин лишь себе самому предоставляет высший суд. В «Памянике», через пять—шесть лет, поэт уже не единолично ведается со своими противниками. Перед ним открылись более широкие перспективы, дали будущего: перед его взорами стоят теперь не «чернь» только, но литераторы болгарского типа, а народ, вся Русь великая, подлунный мир, — всё потомство веков грядущих. Прибавился новый критерий — суд потомства, о котором забывалось в пылу борьбы. Настоящее стало утрачивать свою непосредственную оспроту, умалилось в своем значении, и поэт заговорил то торжественно-величавым, то тихим и проникновенным голосом, как человек, поднявшийся над современностью, оценивающий вещи исторически и даже *sub specie aeternitatis*. Найдено окончательное решение мучительного вопроса. Всею своей концепцией стихотво-

рение «Памятник» знаменует ту высокую зрелость духа, которой отмечены последние три—четыре года жизни Пушкина, и о которой говорится в черновом наброске 1836 года:

Я возмужаль (и кажется на вѣкъ)  
И дней моихъ (взволнованный) потокъ  
(Теперь утихъ)...

Во второй половине тридцатых годов Пушкин поднялся на сионские высоты духа и оппуда созерцает жизнь и людей. На тридцатые годы падает его усиленный интерес к истории. Историзм становится органической частью его жизнепонимания. Каждое явление рассматривает он в историческом плане; настоящий миг всегда обрамляется живыми образами прошлого и поэтическими видениями будущего (как, напр., в стихотворении 1835 г. «Вновь я посетил»). Как его летописец, Пушкин уже в состоянии с объективной высоты озирает мятущуюся жизнь, и всему находит свое законное место.

В день лицейской годовщины, 19 октября 1836 года, Пушкин делает исторический обзор промчавшейся четверти века и убеждается, что не даром жила Россия, что было движение: «таков судьбы закон». История, мог бы сказать поэт словами Карамзина, утешает нас в несовершенствах настоящего.

Мало доброго видит Пушкин в буйном антиисторизме, какой проявил, напр., автор «Путешествия изъ Петербурга в Москву». Имя Радищева вспомнилось ему, когда он писал «Памятник», но поэт почувствовал, что было бы нарушением общего психологического аккорда ставить себя в непосредственную связь с Радищевым. Тем более, что выражение «в мой жестокой вѣкъ» не только имеет более общий смысл, но и звучит более веско и более вразумительно для людей тридцатых годов, чем имя опального и многими забытого Радищева <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ср. сказанное мною в книге «Пушкин и Радищев» (М. 1920), стр. 71—72. «Все прочли его книгу и забыли ее», говорит Пушкин в статье «Александр Радищев» (1836). См. также у В. П. Семенникова в книге «Радищев» (1923), стр. 311 и слл.

Историзм помог Пушкину разобратъся в проблеме «гений и толпа». Великие люди часто перпят обиды от современников, но их оценил справедливое потомство. Этой мыслью закончил Пушкин свое стихотворение «Полководец» (1835):

О люди! жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха!  
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!  
Какъ часто мимо васъ проходитъ человекъ,  
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,  
Но чей высокій ликъ в *грядущемъ поколѣннѣ*  
Поэта приведетъ въ восторгъ и въ умиленѣ!

Современники почти в глаза называли Барклая-де-Толли изменником. «Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но убежденный в самого себя, молча идущий к сокровенной цели <sup>1</sup> и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, остается в истории высоко поэтическим лицом». Так говорил Пушкин уже в 1836 году в своем «Объяснении» по поводу стихотворения «Полководец». Аналогия с поэтом очень близкая. Правда, положение Барклая можно признать еще более прагмичным, чем положение поэта. Но оба — окружены враждою черни дикой, язвимы злоречием. У обоих путь — один: «убежденный в самого себя», каждый «молча» идет «к сокровенной цели» в надежде, что история оправдает их. История, по мнению Пушкина, уже признала, что отступление Барклая «является ясным и необходимым действием». И поэт от имени потомства воздал оклеветанному полководцу хвалу, назвав его имя «с участием и умилением». Себе самому Пушкин рекомендует в «Памятнике» то же самое поведение, какого держался Барклай. Потомство рассудит тяжбу поэта с чернью. Современники слепо предъявляют к нему разные требования, пытаясь сковать его творческую волю. Но потомкам будет ясно, что поэт свято служил своему

<sup>1</sup> В стихотворении «Полководец» сказано:

Непроницаемый для взгляда черни дикой,  
Въ молчаннѣ шелъ одинъ ты съ мыслию великой.

призванию, что в его поэзии есть всё, что нужно людям и чего можно претерпеть от художника, ибо он оставил в заветной лире свою душу.

## V

Тут мы опять подходим к спорной IV строфе.

По толкованию М. О. Гершензона, поэт излагает здесь мнение о себе невежественного народа, который едва ли в состоянии возвыситься до понимания «звуков новых», который видит в поэзии «гораздо более деловые ценности», т.-е. чувства добрые.

Выше мною было сказано, что IV строфа имеет в виду исключительно русский народ, а не всё население Руси великой, что в ней поэт формулирует отношение к себе ближайшего потомства, тех, кому долго будет памятен «жестокий век» Николая. Вопрос—в том, усматривает ли Пушкин в подобном суждении народа оскорбительную для себя клевету, или же здесь дана им самооценка, оценка тех свойств его «души», которые сохраняются в заветной лире и переживут его прах.

Ответ представляется мне совершенно ясным, если не вкладывать в слова IV строфы узкого смысла, если не утверждать, что здесь «говорится совершенно о том же, чего в «Черни» претерпит от поэта «чернь» (в этом случае М. О. Гершензон солидарен с Пыпиным), т.-е. не утверждать, что речь идет лишь о «деловых ценностях», о «пользе моральной», о «полезности, нравоучительности», о «жалкой полезности для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы». Я полагаю, что IV строфа говорит нам об отражении «души» поэта в его лире, о значении его поэзии, о нравственном смысле его творчества в глазах прежде всего ближайшего потомства. А это—существенно иное.

Начать с того, что ближайшие потомки, а следовательно, частью и его современники как раз находили в Пушкине то, что отмечено в IV строфе. Поэт не ошибся в сво-

их ожиданиях. Сошлюсь на Гоголя и Белинского. Ни того, ни другого нельзя причислить к «глупцам».

Гоголь узнал в IV строфе «душевный портрет» Пушкина, как человека, т.-е. характеристику его «души»<sup>1</sup>.

Белинский свои знаменитые пушкинские статьи заканчивает мыслью о гуманности поэзии Пушкина. «Пушкин, — резюмирует он своей основной взгляд, — был по преимуществу поэт, художник и больше ничем не мог быть по своей натуре». Но тутчас же прибавляет, не боясь никакого противоречия с только что сказанным: «К особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности<sup>2</sup>, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека, как человека... Пушкин по самой натуре своей был существом любящим, симпатичным, готовым от полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему «человеком». Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характере сильном и мощном, в нем было много детски-кроткого, мягкого и нежного. И всё это отразилось в его изящных созданиях. Придет время, когда он будет в России поэтом классическим<sup>3</sup>, по творениям которого будут образовываться и развиваться не только эстетическое, но и нравственное чувство...».

Вот точка зрения тех, к кому непосредственно адресуется поэт в IV строфе. Очевидно, нам не следует говорить о «пользе моральной» (о нравоучительности), а о нравственном значении поэзии. В этом случае, может быть, нелишне вспомнить рассуждения того же Белинского о философском содержании понятий «моральный» и «нравственный» в статье 1840 г. «Менцель, критик Гёте». Защищая тогда идею «чистого искусства», Белинский требовал не смешивать «нравственного» (Sittlichkeit)

<sup>1</sup> См. «О лиризме наших поэтов» в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

<sup>2</sup> Курсив Белинского.

<sup>3</sup> Курсив Белинского.

с моральным (Moralität). «Отделить вопрос о нравственности от вопроса об искусстве», — писал он, — так же невозможно, как и разложить огонь на свет, теплоту и силу горения... Что художественно, то уже и нравственно». Белинский формулирует здесь те эстетические принципы, которые были высказаны еще Шиллером и подхвачены нашей критикой 20-х годов, в частности повторены Шевыревым в «Московском Вестнике», как раз по поводу Пушкина<sup>1</sup>. С теми же мыслями встретился Белинский и в гегельянской эстетике (у Рётшера).

Думается мне, так же понимает вопрос и Вл. Соловьев: в своих комментариях к «Памятнику» он последовательно говорит о *нравственной пользе*, полагая, что прекрасное «по самому существу своему есть и нравственно доброе». Поэтому М. О. Гершензон поступил не совсем осмотриптельно, заменив однажды в пересказе соловьевской статьи выражение «нравственная польза» словами «моральная польза» (стр. 68). Очевидно, это — не простая философская схоластика.

С Белинским и Вл. Соловьевым в конце концов согласны все, кто мыслит искусство, как великую *нравственную силу*<sup>2</sup>.

IV строфа «Памятника» как раз говорит об этом и не находится ни в малейшем противоречии с обычными взглядами поэта и ближайшим образом с его взглядами тридцатых годов.

Разумеется, чтобы быть вполне убедительным, я должен бы дать систематическое изложение пушкинской

<sup>1</sup> Ср. в книге проф. И. И. Замотина «Романтизм двадцатых годов XIX стол. в р. литературе», т. I, изд. 2-е, стр. 145—147.

<sup>2</sup> Пожалуй, для полноты впечатления, нелишне напомнить мысли В. П. Боткина (напр. в начале статьи 1857 г. о стихотворениях Фета), Достоевского (хотя бы в интереснейшей его статье 1856 г. «Г—бов и вопрос об искусстве»). Оба отстаивают святость и свободу поэзии. Хорошую иллюстрацию того же принципа дает Гл. Успенский в рассказе «Выпрямила»: Венера Милосская, воплощение красоты, внесла нравственный смысл, выпрямила измученную душу демократа. Интересно, что гегелевское учение о Moralität и Sittlichkeit лежит в основе эстетических рассуждений и новейшего немецкого исследователя Эмиля Эрмпингера («Das dichterische Kunstwerk», Leipzig—Berlin, 1921. S. 271 ff.).

поэтики. По необходимости ограничиваюсь несколькими общими мыслями

Творчество, по Пушкину, — священный акт («священная жертва» Аполлону). Художники — «единого прекрасного жрецы». Поэзия — самоцель. «Ты спрашиваешь», — пишет Пушкин Жуковскому в 1825 г., — «какая цель у Цыганов? Вот, на! цель поэзии — поэзия, как говорит Дельвиг (если не украл этого)».

Более, чем кто-либо, считал Пушкин высшим для себя счастьем — «пред созданными искусствами и вдохновенья безмолвно упопать в восторгах умиленья». Поэт в представлении Пушкина царственно свободен в своем творчестве. За независимость от чипапельских кругов хвалил он Боратынского и Катенина. Нет, по мнению Пушкина, более тяжкого греха, как угодничество толпе, приноравливание «к господствующему вкусу, к мнениям публики», в чем повинны французские писатели. «В них нет и не было бескорыстной любви к искусству и к изящному: жалкий народ!»<sup>1</sup>.

В поэте драгоценнее всего искренность (без «искренности вдохновения» нет «истинной поэзии»), и он прекрасен «во всех состояниях и изменениях» своей творческой души. А, следовательно, приемлемы самые различные жанры и виды творчества («Благоговею перед созданием Фауста, но люблю и эпиграммы etc.»). Произведение не исключается из сферы искусства даже в том случае, если оно отразило злобу текущего дня.

Пушкин не был эстетом в смысле самодовлеющего формализма. Ценя, разумеется, прежде всего форму, он не обнаруживает безразличия к содержанию, к мысли произведения, к нравственному значению писателя, ясно при этом отличая «нравоучение» (мораль) от «нравственной цели». Пушкин

<sup>1</sup> Заметки 1834 года о русской и французской литературе. — В неопубликованном стихотворении 1833 года Пушкин советует поэтам строже относиться к себе: «Наперед узнайте, чем душа у вас исполнена — прямым ли вдохновеньем, или необузданным одним попользовеньем, и чешется у вас рука по пустякам».

в этом случае разделяет те взгляды на поэзию, какие высказывались лучшими нашими критиками 20—30-х годов (Киреевским, Шевыревым, Надеждиным, Белинским) и в частности господствовали в кружке «Моск. Вестника».

Критика и публика бывают нередко излишне снисходительны. Стоит только молодому писателю проявить «навык к стихосложению, знание языка и средств оногo,— писал Пушкин в 1827 г. в заметке о Боратынском,—потомчас уж спешат «приветствовать его титлом гения за гладкие стихи»<sup>1</sup>. С другими критериями подходит сам Пушкин к оценке того же Боратынского. Он относит автора «Пиров» к числу «отличных наших поэтов» за «гармонию его стихов», за «свежесть слога», за живость и точность выражения», а также за то, что он «мыслил по своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко».

Ронсар и Малерб ныне забыты,— писал Пушкин в 1834 году: «сии два таланта испощили силы свои в борении с механизмом языка, в усовершенствовании стиха. Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли—истинной жизни его, не зависящей от употребления!» Заметим же, каким требованием должен удовлетворять писатель, если он желает жить в потомстве.

Трубадурам в свое время, без сомнения, доставляла наслаждение игра рифмами, виртуозная техника стиха: они «придумывали самые затруднительные формы; явились приолеты, баллада, рондо, сонет и пр.». Но в этом была и слабая сторона: «От сего произошла необходимая натяжка выражения, какое-то жеманство, вовсе неизвестное древним; мелочное остроумие заменило чувство, которое не может выражаться в приолетах. Мы находим несчастные сии следы в величайших гениях новейших времен. Но ум не может довольствоваться одними игруш-

<sup>1</sup> Ср. в «Евг. Он.» (VII, строфа XXV): «Как стих без мысли в песне модной, дорога зимняя гладка».

ками гармонии. Воображение пребудет картин и рассказов»<sup>1</sup>.

Делорм,—по мнению Пушкина (1831),—«слишком много придает важности нововведениям так называемой романтической школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха, в цензуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п. Всё это хорошо; но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества».

Значит, «нововведения» в области формы отступают в своем значении перед чем-то другим,—перед мыслью, перед чувством, перед тем, в чем выражается душа. Только ей суждено пережить прах поэта. Спрашивается, проповоречил-ли поэт самому себе, меняя в IV строфе «Памятника» «звуки новые» на «чувства добрые»<sup>2</sup>.

В скромном стихотворении Вольпера «Соседу» Пушкин в 1836 г. находил «более слога, более жизни, более мысли, нежели в полдюжине длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где мысль заменяется исковерканным выражением» и пр.

Разбирая в 1835 году сочинения Георгия Конисского, Пушкин нашел нужным остановиться и на его стихотворениях: «в художественном отношении они имеют мало достоинства», замечает поэт, но в них виден «дух мыслящий».

Не обошел Пушкин и щекотливого вопроса о нравственности в поэзии. Ему самому не раз приходилось выслушивать упреки в безнравственности. Тема была самой актуальной.

Некоторые журналисты,—писал Пушкин в 1831 году по поводу стихотворений Делорма или Сент-Бева,—употребляют слово «безнравственность», а следовательно,—прибавлю от себя,—и слово «нравственность» «в детском

<sup>1</sup> Заметка 1834 года о русской и французской литературах.

<sup>2</sup> Любопытно, что Валерий Брюсов в 1899 году, в разгар споров о новой поэзии, выразился: «меняются приемы творчества, но никогда не может умереть или устареть душа, вложенная в создания искусства» (В. Брюсов. О искусстве. М. 1899 стр. 15).

смысле». У Пушкина на этот вопрос есть вполне определенный взгляд.

В своих элегиях Делорм—С.-Бев изображал и страсти, и безверие,—и оставался искренним, стало быть, истинным поэтом; ничего «безнравственного» в его поэзии не было. Но вот он исправился под влиянием приятелей, «людей степенных и нравственных» и утратил искренность вдохновения: «радуясь перемене человека», Пушкин сожалеет о поэте. «Сохрани нас Боже быть поборником безнравственности в поэзии», говорит тут же Пушкин: «... Поэзия, которая по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя, кольми паче не должна унижаться до того, чтобы силою слова попрясал вечные истины, на которых основаны счастье и величие человеческое, или превращать свой божественный нектар в любострастный воспалительный состав». В эти строки стоит вдуматься получше тем, кто хочет верно понять взгляды Пушкина на поэзию. Высшее, свободное свойство поэзии—таково, что она не должна иметь никакой цели, кроме самой себя. Этот основной тезис твердо исповедуется Пушкиным, но рядом с этим—требование, чтобы поэт силою слова не попрясал вечных истин. Очевидно, в сознании Пушкина эти два тезиса вполне согласуются между собою. Свобода творчества не исключает момента эпического, нравственного, если понимать последнее «не в детском смысле». И Пушкин в своих суждениях о поэтах не уклоняется от нравственного суда над ними.

Мицкевич был дорог Пушкину, когда, «мирный, благоклонный», он посещал беседы друзей, когда с высоты взирал на жизнь. Теперь, в 1834 году, польский писатель, в угоду черни буйной, поет ненависть. Тяжело слушать «голос злобного (ранее—«падшего») поэта», и Пушкин молит, чтобы водворился мир в его озлобленной душе. Поэту нужны «чувства добрые».

Делая в 1834 году очерк развития французской литературы, Пушкин вменяет ей в вину увлечение революцион-

ными идеями XVIII в. «Ничего не могло быть противоположнее поэзии», как эта философия: «она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов».

Автор «Rucelle» (которой, к слову сказать, в молодости Пушкин увлекался), Вольпер обнаружил большое техническое мастерство; вообще говоря, не владея «верхом поэзии», здесь он «становится истинным поэтом». Но худо то, что «весь его разрушительный гений со всею свободой излился в циничной поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии».

В «Мыслях на дороге» (1833—1835), в главе о цензуре, наш поэт опять выступает защитником «нравственности». Он пишет: «Нравственность <sup>1</sup> (как и Религия) должна быть уважаема писателями. Безнравственные книги суть те, которые потрясают первые основания гражданского общества,—те, которые проповедают разврат, рассевают личную клевету или кои целью имеют распаление чувственности приапическими изображениями». Разумеется, в суждении об этом требуется особый такт, «здравый ум и чувство приличия». Моралисты в подобных случаях переходят всякие границы. И Пушкину, как раз в 1836 году, пришлось подробно высказаться по данному вопросу, именно в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности». Для нашей цели она очень важна <sup>2</sup>.

Филиппика Лобанова как раз типична для литературной «черни»; его требования—морально-утилитарные; он хотел от поэзии нравоучения, смешивая мораль и нравственность. Пушкин шаг за шагом оспаривает сурового Капона <sup>3</sup>. Только «мелочная и ложная теория» могла про-

<sup>1</sup> Курсив Пушкина.

<sup>2</sup> М. О. Гершензон привел из нее короткую цитату («цель искусства есть идеал, а не нравоучение»), но не обратил внимания на весь контекст.

<sup>3</sup> Этот литературный эпизод рассмотрен мною в статье «Взгляд Пушкина на современную ему французскую литературу». Пушкин, изд. под ред. С. А. Венгерова, т. V, стр. 385—388.

возглашать, «будто бы польза<sup>1</sup> есть условие и цель изящной словесности». Поняты были протесты против такой теории со стороны французских романиков. Старая теория пала. «Почувствовали, что цель искусства есть идеал, а не нравоучение»<sup>1</sup>. Классическая поэтика требовала, таким образом, пользы в смысле нравоучения, поэтика романтическая провозгласила, что цель искусства — идеал. Пушкин примыкает к этому принципу. «Но писатели французские, — спешит пояснить Пушкин, — поняли одну только половину истины неоспоримой и положили, что и нравственное безобразие может быть целью поэзии, т.-е. идеалом!» «Идеал» в поэзии, понимаемый не односторонне, как-то связан с высшим понятием нравственного. Французские авторы, по оценке Пушкина, поверхностно и искаженно судят о человеке и жизни, и этого нельзя считать в них достоинством. Они любят выставлять порок торжествующим, в человеческом сердце находят только эгоизм и тщеславие, во всем этом обнаруживается «поверхностный взгляд на природу человеческую», «легкомыслие». «Высшая критика» давно уже осудила эту «словесность отчаяния» (как назвал ее Гёте), «словесность сатаническую» (как говорит Соутей), словесность галльваническую, каторжную, пуншевую, кровавую, цыгарочную и пр.». Сам Пушкин называет ее еще «раздражительной, опрометчивой, бессвязной». Замечательна здесь ссылка на «высшую критику». Под высшей критикой в тридцатых годах, особенно под влиянием гегельянца Рётшера, разумели критику философскую, основанную на принципах философского идеализма. Именно эта философская эстетика и говорила об «идеале», как цели искусства. В 1838 году Катков перевел Рётшера на русский язык, Белинский принялся его пропагандировать, страстно нападая на Менцеля, с одной стороны, и на «юную французскую литературу», с другой. Основы идеалистической эстетики и, следовательно, «высшей критики» известны были у нас со

<sup>1</sup> Курсив Пушкина.

времен Любомудров, с которыми Пушкин был в непосредственном общении. Поэтому нас несколько не удивляет его ссыла на «высшую критику». Без сомнения, нападки Пушкина на французских писателей, которые «положили, что и нравственное безобразие может быть целью поэзии, т.-е. идеалом», нужно рассматривать в плане той же идеалистической эстетики с ее учением о гармонии космоса и о художественной «идее» в поэтическом произведении. Беда Пушкина (как и Белинского) состояла в том, что, исходя из принципов «высшей критики», они логически должны были отрицать «неистовую» французскую словесность и тотчас же попадали в один лагерь с моралистами Лобановыми. Но, конечно, это сходство было чисто внешним и случайным. Предпосылки Пушкина и Лобанова были полярно противоположны, и Пушкину приходилось тратить не мало усилий, чтобы отграничить себя от мнимого союзника. Во всяком случае несомненно, что Пушкин нападал на французских авторов не во имя морали, «нравоучения», а во имя нравственности и «идеала». Он радуется, что русская поэзия остается чуждой влиянию французскому, а «более и более дружится с поэзией германскою». У немцев можно поучиться, как соединять изящность с нравственной целью. Этого нельзя требовать от писателей, да еще под угрозой цензурных репрессий, как поступает Лобанов, но к этому надо стремиться. Странно, — рассуждает Пушкин, — от всех писателей требовать «стремления к одной цели». «Требовать от всех произведений словесности изящности или нравственной цели было бы то же, что требовать от всякого гражданина беспорочного жития и образованности». Ведь «нравственное чувство, как и талант, дается не всякому». Но, очевидно, Пушкину хотелось бы видеть в писателе и то и другое. Тогда произведения писателя удовлетворяют «высшую критику».

Не случайно в бумагах Пушкина оказался листок, на котором собственноручно поэт переписал рассуждения Жуковского о прекрасном, являющиеся комментарием к сти-

хотворению «Лалла Рук» (1821). В основе — мысль Руссо: «il n'y a de beau que ce qui n'est pas». Прекрасное является нам только минутами, чтобы «возвысить нашу душу». Стремление к прекрасному есть «одно из невыразимых доказательств бессмертия». Это «высокое ощущение прекрасного» дается людям также в поэзии. Стихотворение «Лалла Рук», как известно, содержит выражение «гений чистой красоты», которым Пушкин воспользовался в стихотворении «К\*\*\*» (А. П. Керн. «Я помню чудное мгновение», 1825 г.).

Разумеется, нельзя отождествлять Пушкина с Жуковским в их понимании поэзии. Выше мы слышали одно характерное возражение Пушкина Жуковскому (по поводу цели поэзии). Но сближение — уместно. Особенно когда Пушкин говорит о поэзии — молитве, о поэте — пророке. Духовно преображенный пророк идет глаголом жечь сердца людей. Поэзия — сладкие звуки и молитвы, раскрытие души перед небом, взлетание сердцем в области заочны. Поэзия — молитва свежит человека «средь дольних бурь и битв» и «падшего крепит неведомою силой».

Воп — высшее значение поэзии, ее «польза».

Из сказанного совершенно ясно, что именно Пушкин ценит в поэте.

Содержание IV строфы находится в полном согласии с приведенными выше взглядами Пушкина. «Звуки новые» ему, конечно, дороги, но не дороже всего, когда заходит речь о правах на бессмертие. Прославление свободы никогда Пушкин не считал делом маловажным и в частности себе самому всегда вменял в заслугу то, что «пред хладною толпой» говорил «языком истинны свободной» (или «правды благородной») <sup>1</sup>. Пусть голос поэта порою звучал как в пустыне, и ему приходилось сетовать, что потерял только «время, благие мысли и труды». Но он фактически был «свободы сеятелем», который «в порабощенные бразды бросал живительное семя». Как было Пушкину не вспо-

<sup>1</sup> Наброски начала 20-х годов.

мнить об этом в «Памятнике» и не сказать с чувством удовлетворения, что в свой жестокий век восславил он свободу. Чувств и именно высоких, добрых чувств ждет Пушкин от поэта, и в самом себе не мог не оценить эпитетов своих («чувства добрые», «милость к падшим»). Это — та «нравственная цель» поэзии, которой ищет в ней «высшая критика», а не «деловые ценности», о которых думает чернь. IV строфа выражает не взгляд черни, а самого Пушкина на то, чем поэт может заслужить добрую память (быть «любезным») в народе, особенно в ближайшем поколении. Пушкин, как творец, жил в веках<sup>1</sup>, но жил и в своем веке. Связь со своим веком, со своим народом он живо ощущал и проглатывательно выразил ее в IV строфе. Здесь нельзя искать полного эстетического credo Пушкина, цельной его поэтики (этого разом не найдешь ни в одном его стихотворении, да было бы и странно подходить к лирике, как к теоретическому трактату). Но, как я старался показать, каждая мысль в отдельности и все в совокупности самым точным образом передают то, что входило в состав пушкинской эстетики.

Чувствуется сверх того, что в словах IV строфы есть особая эмоциональная окраска, какая-то теплая задушевность. Особенно эта «милость к падшим». «Глупцам» не додуматься до таких слов и не понять таких настроений. Нет, не случайно заговорил Пушкин о добрых чувствах в своей лире. Кроме общих его взглядов, свое значение имела здесь психология данного творческого момента.

## VI

В 1836 году Пушкин чувствовал особую потребность обнажить перед потомством свою творческую душу.

Большой человек в каждый миг своей духовной жизни обвеян дыханием вечности. Но бывают минуты, когда это

<sup>1</sup> Этому мотиву посвящена моя речь о Пушкине («В веках»), которая напечатана в альманахе Кн-ва Писателей «Литературные отклики» (М. 1923).

ощущение вечности обостряется с исключительной силой, глубоко внедряясь в сердце. Так было с Пушкиным в период создания «Памятника».

Это не значит, конечно, что в те же самые *годы* Пушкин не проявлял и иных каких-нибудь настроений, даже прямо противоположных. Поднявшись на сионские высоты духа, он мог писать (в 1833 г.): «Напрасно я бегу к сионским высотам, — грех алчный гонится за мною по пятам». Более того, он мог и отдаться во власть этого алчного греха. Проникшись сознанием святости добрых чувств, чувствуя красоту «милости к падшим», — поэт и в стихах и в жизни мог тут же проявить злые чувства, думать о кровавой дуэли. Для нас существенным является то *настроение*, в каком написан «Памятник», и настроение это, как мы сейчас убедимся, не было мгновенным, а составляет одну из ценных сторон в сложной психологии поэта за последние годы его жизни.

Еще в «Борисе Годунове» Пушкин раскрыл широко-историческое созерцание и величаво-благостное состояние духа, когда человек от современности переносит свой взор в прошлое и в будущее, когда он озирает века и видит перед собой далеких потомков. Самая работа приобретает тогда особое значение: это — «долг, завещанный от бога» («велење божие» и «заветная» лира у Пушкина). Конечная цель труда — «да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу» («жестокий век» у Пушкина). Летописец надеется, что потомки сумеют понять и проспить своих предков, а за грехи и темные деянья будут смиренно умолять спасителя («милость к падшим призывать» у Пушкина).

Подобным, пименовским настроением был проникнут Пушкин 1836 г., как будто предчувствуя, что и его век недолог, что, может быть, и он дописывает «последнее сказанье». И у автора «Памятника» вид — «смиранный, величавый».

Задолго до рокового дня, когда пуля Дантеса пресекла его жизнь, Пушкин был полон ожидания смерти. Давно

уже привык он «день каждый, каждую минуту» «думой провождать, грядущей смерти годовщину меж них стараясь угадать» (1829). Бродя в задумчивости за городом, поэт, как говорится в неопделанном стихотворении 1836 года, которое писалось неделей раньше «Памятника» на том же Каменном Острове, часто заходит «на публичное кладбище» и переносится мыслью в деревню, на «кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое». В год написания «Памятника» поэт даже облюбовал местечко для своей могилы в Святогорском монастыре. Он как бы уже слышит приближение смерти. О скорой смерти говорит стихотворение 1836 года: «Пора, мой друг, пора!» Настало время свести последние счета с землей.

Высокие думы о жизни нахлынули на поэта; сердце исполнилось молившимся умилением. Слово «умиленье», довольно частое у Пушкина, теперь особенно полюбилось ему, и он по-и-дело употребляет его в 1835—1836 годах для выражения высокого состояния души<sup>1</sup>. Напряженно углубляется Пушкин в жития святых, в евангелие. В 1836 году рецензирует он «Словарь о святых». К 1835 году относятся выписки из Четиих-Миней, из Пролога об иноках, подававших людям пример смирения и братолюбия. Подробному разбору подвергает Пушкин в том же году сочинения Георгия Конисского, выписывая из его проповедей длинный ряд мыслей о молитве, о радости духовной, о возлестании душой бессмертной к небу и т. п. И тут же нашел повод с похвалой отозваться об «умилительной простоте» речи, произнесенной Филаретом в 1830 г. «Достопримечательной» показала Пушкину даже элегия Конисского, где он размышляет о смерти и об ответственности человека за свою земную жизнь, заключив ее словами:

И такъ, доколѣ древа топоръ не коснется,  
Плодъ добрыхъ дѣлъ тебѣ принестъ остается <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Еще в 1831 г. Пушкин «с умилением и невольной завистью» читал книгу А. Н. Муравьева «Путешествие к святым местам», которые автор посетил, «как верующий, как смиренный, простодушный крестоносец».

<sup>2</sup> Сочинения Конисского, видимо, разом удовлетворяли и историзм и религиозное чувство Пушкина.

Неоконченное стихотворение 1834 года «Странник» — апофеоз тех, кто покидает мир, дабы скорей узреть «спасенья узкий путь и тесные врата». Своим «болезненно-отверстым» оком увидел пустынный впереди «некий свет» и пошел к нему. Несущественно, что «Странник» — не вполне оригинальное произведение. Религиозные мотивы звучат в стихотворениях 1836 года: «Когда великое свершилось торжество» и «Подражание ипальянскому» («Как с древа сорвался предатель ученик») <sup>1</sup>. В 1836 году Пушкин поведал нам интимную сторону своих религиозных переживаний в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны» (с датой 22 июля 1836). Божественные молитвы укрепляют человека «средь дольних бурь и битв», помогая «сердцем взлетать во области заочны». Но всего более «умиляет» поэта известная великопостная молитва.

· Всех чаще мне она приходит на уста —  
И падшего крепит неведомою силой, —

говорит поэт (при чем вм. «падшего» первоначально было написано: «душу мне») и благоговейно повсюдет слова молитвы:

Да брат мой от меня не примет осужденья,  
И дух смирения, терпения, любви  
И целомудрия мне в сердце оживи.

Вот что важно: смиренно полюбить брата, ободрить падшего, милость к падшему призвать <sup>2</sup>.

Есть книга всемирного значения: это — евангелие «И такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром, или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах проповиаться ее сладостному увле-

<sup>1</sup> Последнее датировано: «22 июня 1836. Кам. Остр.».

<sup>2</sup> Любопытно, что в 1821 г., в письме к Дельвигу, Пушкин игриво использовал ту же молитву Ефрема Сирина. — К удивлению, Вл. Гиппиус находит стихотворение «Отцы пустынники» — «одним из самых скучных по вялости ритма». Вл. Гиппиус. «Пушкин и христианство». Пгд. 1915, стр. 30. Ср. также стр. 38—39. — Попытка Гиппиуса осветить религиозное сознание Пушкина — очень интересна, но во многом спорна. Некоторыми своими чертами его концепция напоминает «Мудрость Пушкина» М. О. Гершензона. — Ср. еще статью Е. Г. Кислицыной «К вопросу об отношении Пушкина к религии» в Пушкинском сборнике памяти проф. С. А. Венгерова (1923).

чению, и погружаемся духом в ее божественное красноречие». Эту священную книгу вспомнил Пушкин, когда писал свою заметку о сочинении Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». Это было в том же 1836 году. Десять лет провел Пеллико по темницам. Естественно было ждать от него «жалоб, напианных горечью», а он выпускает в свет «умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства». Книга «*Dei doveri*», — говорит Пушкин, — «устыдила нас и разрешила нам тайну прекрасной души, тайну человека-христианина». Умилительны в Пеллико эти «кротость духа» и «младенческая простота сердца». «Кроткий спрадалец» принадлежит «к сим избранным, которых Ангел Господний приветствовал именем человека в благоволения»<sup>1</sup>.

Таким рисуется теперь Пушкину идеал человека в его отношении к жизни. Кротость духа, младенческая простота сердца, благоволение<sup>2</sup>.

Как Гоголь, хотя и в более слабой степени, Пушкин занят теперь своим «душевым делом». Думается, что психология этих переживаний отпечатлелась на «Памятнике» и особенно на четвертой и пятой строфах. Поэту хотелось положить на чашку весов именно добрые чувства. Муза хорошо выполнила свое земное назначение и до конца пребудет верна «велестью божию».

«Памятник» — углубленная оценка творческой жизни *sub specie aeternitatis*. Мудрым историзмом и светлой кротостью дышит всё стихотворение. Благостной умиротворенностью обвеяна каждая его строфа. Отрешившись от минутных интересов дня, вещим взором прозревает поэт будущее. Он — пред вратами вечности. Лучи бессмертия уже коснулись его творческого чела.

Как всё это — просто и величаво! Мудрость Пушкина — в его гениальной простоте.

<sup>1</sup> Курсив Пушкина.

<sup>2</sup> В тридцатых годах религиозные интересы вообще занимали важное место в жизни русской интеллигенции. См. в моей книге «Князь В. Ф. Одоевский», т. I, ч. I, глава третья.

ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ  
Общества Любителей Российской Словесности

---

# ПУШКИН

СБОРНИК ПЕРВЫЙ

редакция Н. К. ПИКСАНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА — 1924